

**В. Г. Белинский**

**Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах**

**Том 4 1844-1849**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 93  
ББК 63.3  
Б43

Б43 **Белинский В.Г.**  
Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах: Том 4 1844-1849 / В. Г. Белинский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 708 с.

**ISBN 978-5-517-96534-9**

**ISBN 978-5-517-96534-9**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1844 ГОДУ.

Вотъ уже пятое обозрѣніе годового бюджета русской литературы представляемъ мы нашимъ читателямъ. Обязавшись передъ публикой быть вѣрнымъ зеркаломъ русской литературы, постоянно отдавая отчетъ во всякой вновь выходящей въ Россіи книгѣ, во всякомъ литературномъ явленіи, «Отечественныя Записки» не вполне исполнили бы свое назначеніе—быть полной и подробной лѣтописью движенія русскаго слова, еслибъ не вмѣнили себѣ въ обязанность этихъ годовыхъ обозрѣній, въ которыхъ обо всемъ, о чемъ въ продолженіе цѣлаго года говорилось, какъ о настоящемъ, говорится, какъ о прошедшемъ, и въ которыхъ всѣ отдѣльныя и разнообразныя явленія цѣлаго года подводятся подъ одну точку зрѣнія. Не ставимъ себѣ этого въ особенную заслугу, потому что видимъ въ этомъ только должное выполненіе добровольно принятой на себя обязанности; но не можемъ не замѣтить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знаютъ, что большая часть этихъ годовыхъ обозрѣній постоянно наполнялась разсужденіями вообще о русской литературѣ и слѣдовательно о всѣхъ русскихъ писателяхъ, отъ Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взглядъ на прошлогоднюю литературу—главный предметъ статьи—всегда занималъ ея меньшую часть. Подобныя отступленія отъ главнаго предмета необходимы по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому что настоящее объясняется только прошедшимъ, и потому что по поводу цѣлой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и нѣсколько статей, болѣе или менѣе интересныхъ; но о русской литературѣ за тотъ или другой годъ, право, не о чемъ слишкомъ много или слишкомъ интересно разговаривать. И это-то составляетъ особенную трудность подобныхъ статей. Легко пересчитывать богатства истинныя или мнимыя; много можно говорить о нихъ; но что сказать о бѣдности, близкой къ нищетѣ? Да, о совершенной нищетѣ, потому что те-

перь нѣтъ уже и мнимыхъ, воображаемыхъ богатствъ. А между тѣмъ о чемъ же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературѣ? Вѣдь у насъ литература составляетъ единственный интересъ, доступный публикѣ, если не упоминать о преферансѣ, говоря о немногихъ, исключительныхъ и какъ бы случайныхъ ея интересахъ. Итакъ, будемъ же говорить о литературѣ,—и если, читатели, этотъ предметъ уже кажется вамъ нѣсколько истощеннымъ и слишкомъ часто истощаемымъ; если толки о немъ уже доставляютъ вамъ только то магнетическое удовольствіе, которое такъ близко къ усыпленію, поздравляемъ васъ съ прогрессомъ и пользуемся случаемъ увѣрить васъ, что мы въ свою очередь совсѣмъ не чужды этого прогресса, и что въ этомъ отношеніи вы не правы, если вздумаете упрекнуть насъ въ отсталости отъ духа времени и въ новой запоздалости касательно его интересовъ... Еще разъ: будемъ разсуждать о русской литературѣ,—предметъ и новый, и любопытный...

Переходчивы времена, какъ подумаешь! Вспомните о томъ, что такъ сильно интересовало васъ, что давало такую полноту вашей жизни и что было еще такъ недавно, —вы поневолѣ воскликнете съ грустью:

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ

На Руси еще не вывелись люди, которые

Извѣстья черпаютъ изъ забытыхъ газетъ  
Время очаковскихъ и покоренья Крыма;

—люди, которые со вздохомъ вспоминаютъ о пудрѣ, о косахъ съ кошельками, о вискахъ à la pigeon, о шитыхъ кафтанахъ, шляпахъ-корабликахъ, объ атласныхъ штанахъ, о шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ бриліантовыми пряжками и красными каблучками; о робронахъ, фижмахъ, о мушкахъ, о мезуэтѣ, о гросфатерѣ, о вельможескихъ столахъ, куда всякій pauvre diable могъ явиться за подачкой, наѣсться и напиться и за все это расквитаться только униженнымъ

поклономъ щедрому амфитріону, который такъ же мало замѣчалъ этотъ поклонъ, какъ и тѣхъ, кто сидѣлъ за столомъ его; о фейерверкахъ, о пирахъ, о «Петриадѣ» Ломоносова, о трагедіяхъ Сумарокова, «Россиадѣ» Хераскова, «Душенькѣ» Богдановича, одахъ Петрова и Державина, и обо всей этой поэзіи, столь плодovitой, столь громкой, столь однообразной, нѣкогда возбуждавшей такое благоговѣнное удивленіе, а теперь извѣстной большей частью только по воспоминаніямъ, по преданію и по слухамъ... И правы, сто, тысячу разъ правы эти вздыхающіе остатки, одиноко и безотрадно уцѣлѣвшіе отъ тѣхъ временъ: вокругъ нихъ «все новое кипитъ, бывшее истребля». Миръ ихъ и миръ нашъ—два совершенно различные міра, между которыми нѣтъ ничего общаго. Говоря съ ними, они съ трудомъ понимаютъ въ нашихъ устахъ русскій языкъ, такъ страшно измѣнившійся съ тѣхъ поръ; что же до нашихъ понятій—они не вразумительны для нихъ даже при посредствѣ самаго точнаго и вѣрнаго перевода на ихъ понятія. Положеніе такихъ людей можно сравнить только съ несчастьемъ—вдругъ ожить, пролежавъ лѣтъ восемьдесятъ подъ той землей, на которой все двигалось и измѣнялось съ быстротой изумительной. Да, имъ, этимъ добрымъ людямъ, есть о чемъ вздыхать! Но эти люди теперь—исключеніе, дорога рѣдкость, нѣчто вродѣ подлинника Несторовой лѣтописи, если только подлинникъ Несторовой лѣтописи гдѣ-нибудь еще существуетъ или существовалъ когда-нибудь. Но теперь есть еще довольно людей другого міра, болѣе близкаго нашему. Это люди, которые юношами любовались на блестящій закатъ царствованія Екатерины II и съ гордыми надеждами встрѣтили кроткое сіяніе царствованія Александра Благословеннаго; которые еще не успѣли привыкнуть ни къ пудрѣ, ни къ пуклямъ и весело разстались съ этими атрибутами отошедшаго въ вѣчность вѣка; которые безъ повѣрки, безъ сомнѣнія повторяли громкія фразы пожилыхъ и старыхъ людей о величіи Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова и Державина,—но которые уже плакали навзрыдъ надъ «Бѣдной Лизой», предавались нѣжной меланхоліи при чтеніи «Натали Боярской Дочери» и восхищались «Письмами Русскаго Путешественника». При этомъ поколѣніи оды были еще въ ходу, но болѣе по укоренившемуся въ прошломъ вѣкѣ благоговѣнію къ ихъ громогласію, нежели вслѣдствіе потребностей наставшаго новаго вѣка. Скажемъ болѣе: ода тогда уже отжила свое время, и ея громозвучные возгласы были заглушены томными вздохами и нѣжнымъ

журчаніемъ сладкихъ слезъ. Одамъ не переставали удивляться, считая ихъ высшимъ родомъ поэзіи послѣ героической поэмы, но новыхъ даровитыхъ одистовъ не являлось. Дмитриевъ пробовалъ писать оды, но только пробовалъ (что не помѣшало ему однакожъ жестоко осмѣять оды въ остроумной сатирѣ «Чужой толкъ»),—и настоящій успѣхъ имѣли его пѣсни, басни, сказки, эпиграммы, надписи и мадригалы, а не оды. Между молодымъ поколѣніемъ начали потомъ появляться esprits-forts, которые позволяли себѣ сомнѣваться въ неоспоримомъ величіи Сумарокова: и не мудрено—они вѣдь знали каждую строку Карамзина, выучили наизусть его стихи, равно какъ стихи Дмитриева и Нелединскаго; въ театрѣ восхищались трагедіями Озерова. Мерзляковъ даже дерзнулъ (о, ужасъ!) изъяснить довольно рѣзкое сомнѣніе на счетъ безукоризненнаго совершенства «Россиады» и «Владимира». Муза Жуковскаго открыла изумленнымъ глазамъ этого поколѣнія совершенно новый миръ поэзіи. Намъ разъ случилось слышать отъ одного изъ людей этого поколѣнія довольно наивный рассказъ о томъ странномъ впечатлѣніи, какимъ поражены были его сверстники, когда, привыкши къ громкимъ фразамъ, вродѣ: «О ты, священна добродѣтель!»—они вдругъ прочли эти стихи:

Вотъ и мѣсяцъ величавый  
Всталъ надъ тихою дубравой;  
То изъ облака блеснетъ,  
То за облако зайдетъ;  
Съ горъ простерты длинны тѣни;  
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,  
И зеркало зыбкихъ водъ,  
И небесъ далекій сводъ  
Въ свѣтлый сумракъ облечены...  
Спать пригорки отдалены,  
Боръ заснулъ, долина спитъ...  
Чу!.. полночный часъ звучитъ.

По наивному рассказу современниковъ этой баллады, особеннымъ изумленіемъ поразило слово «чу!»... Они не знали, что имъ дѣлать съ этимъ словомъ, какъ принять его—за поэтическую красоту или литературное уродство... И въ то время, какъ Жуковский вводилъ и распространялъ вкусъ къ романтизму, скрипучій, сросшійся съ усѣченіями и какофоніей русскій псевдо-классицизмъ, подъ очаровательнымъ перомъ Батюшкова, дошелъ даже не только до щегольства, но и почти до поэзии выраженія, до мелодіи стиха... И что же?—Едва прошло два десятилѣтія наступившаго вѣка, какъ явился Пушкинъ, — и доселѣ новое поколѣніе съ изумленіемъ увидѣло себя поколѣніемъ, уже отжившимъ свое время... Въ самомъ дѣлѣ, если русская проза, преобразованная Карамзинымъ, улучшенная Жуковскимъ, еще не показала въ

это время рѣшительнаго стремленія къ новому преобразованію, — зато стихи такъ быстро, такъ скоро измѣнились, что тотчасъ же за Пушкинымъ даже и убогіе талантомъ молодые люди заплѣли такими легкими, такими гладкими стихами, что, въ сравненіи съ ними, и стихи Батюшкова перестали казаться образцомъ изящества. И добро бы реформа стиха ограничивалась только его фактурой; нѣтъ, самый тонъ поэзіи, ея содержаніе, ея мотивы—все стало диаметрально противоположно прежней поэзіи. Сколько уже времени до того Жуковский писалъ баллады! на нихъ нѣкоторые косились, хотя большинство читало ихъ съ одобреніемъ; но лишь явился Пушкинъ, не написавшій почти ни одной баллады, какъ баллада сдѣлалась любимымъ родомъ: всѣ принялись за мертвецовъ, за кладбища, за ночныхъ убійцъ; поднялись жестокіе споры за балладу. Элегія напавалъ убила оду; уныніе, грусть, разочарованіе, сомнѣніе, сладостная лѣнь, пьянство, похмѣлье, пиры, студентское удалство, Гамлетовское раздумье, разрушенныя надежды, обманщица жизнь, пѣна шампанскаго, разбойники, нищія, цыгане—вотъ что, какъ хозяева, вошло во храмъ русской поэзіи и гордо пальцемъ указало дверь прежнимъ жрецамъ и поклонникамъ... Критика, дотогѣ скромная, покорная служительница авторитета и лѣстливая повторяльщица избитыхъ общихъ мѣствъ,—вдругъ словно съ цѣпи сорвалась. Она перевернула всѣ понятія, ложью объявила то, что дотогѣ считалось истиной, назвала истиной то, что дотогѣ считалось ложью. Сумарокова провозгласила она бездарнымъ писакой, подъ пару Третьяковскому; поэмы Хераскова изъ великихъ произвела только въ тяжелыя; Петрова объявила надутымъ риторомъ въ стихахъ; даже Ломоносова дерзнула поставить, какъ поэта и лирика, на весьма почтительное разстояніе отъ Державина. Изъ всѣхъ этихъ колоссальныхъ славъ уцѣлѣли только Ломоносовъ и Державинъ; но первый больше, какъ ученый, какъ преобразователь языка, нежели какъ поэтъ; объ одномъ только Державинѣ новая критика повторила всѣ старыя фразы, съ прибавленіемъ своихъ новыхъ. Потомъ пользовались ея благосклонностью Хемницеръ и Богдановичъ, и не былъ ею оцѣненъ Фонвизинъ—единственный писатель Екатерининскаго вѣка, котораго будутъ читать еще не одинъ вѣкъ. Къ числу заслугъ новой критики принадлежитъ еще то, что она уничтожила смѣшной предразсудокъ, основанный на кумовствѣ и безвкусицѣ, — предразсудокъ, вслѣдствіе котораго басни Дмитріева считались выше басенъ Крылова, — тогда какъ здравый

смыслъ и чистый вкусъ запрещали какое-нибудь сравненіе между талантливыми баснями Дмитріева и гениальными баснями Крылова... Не перечестъ всѣхъ подвиговъ новой критики! Не довольствуясь своими писателями, она смѣло пустилась судить (впрочемъ съ чужого голоса) объ иностранныхъ: не только Флоріанъ, Делиль, Кребильйонъ, Дюси, Попе, Адиссонъ, Драйденъ, но и трагики — Корнель, Расинъ, Вольтеръ были объявлены ею плохими и ничтожными поэтами. Взамѣнъ ихъ, она провозгласила великими гениями Шекспира, Сервантеса, Шиллера, Гёте, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Виктора Гюго, заговорила съ уваженіемъ о Гофманѣ, Жанъ-Полѣ, Вашингтонѣ Ирвингѣ, Тикѣ, Цюкке, — Буало, Баттѣ и Лагарпъ были ею уничтожены, какъ законодатели въ области изящнаго, какъ руководители литературнаго вкуса; на дребезги разбитыхъ ихъ статуи и пьедесталовъ поставила она братьевъ Шлегелей.

Но всѣ эти опасныя новости, всѣ эти «дикія неистовства» вольнодумной критики, такъ изумившія и раздражившія старое поколѣніе, и въ половину не произвели на него такого страшнаго, потрясающаго впечатлѣнія, какъ начинавшіяся потомъ нападки на Карамзина. Тутъ вполне обнаружилось воспитанное Карамзиннымъ поколѣніе: въ непростительной дерзости новыхъ критиковъ — судить о Карамзинѣ не по табели о рангахъ, а по своему смыслу и вкусу, увидѣло оно покушеніе на жизнь и честь—не Карамзина (котораго честь достаточно обезпечивалась его заслугами), а на жизнь и честь Карамзинскаго поколѣнія. Война была страшная; много было пролито чернилъ и поломано перьевъ; сражались и стихами, и прозой. Замѣчательно впрочемъ, что эта война началась еще при жизни Карамзина (который не вмѣшивался въ нее) и что первый осмѣлился говорить о Карамзинѣ, не по преданію и не по авторитету, а по собственному сужденію, человекъ стараго поколѣнія — профессоръ Каченовскій. Князь Вяземскій доказывалъ ему его несправедливость въ стихотворномъ посланіи, которое было напечатано въ «Сынѣ Отечества» 1821) и начиналось такъ:

Передъ судомъ ума сколь, Каченовскій!  
жалокъ...

Каченовскій перепечаталъ это посланіе у себя, въ «Вѣстникѣ Европы», поблагодаривъ издателей «Сына Отечества» за запятую и восклицательный знакъ, которыми, въ первомъ стихѣ, отдѣлено имя того, къ кому адресовано посланіе, и снабдивъ эту пьесу очень любопытными примѣчаніями. И долго послѣ того продолжалась война...

Карамзина не стало; князь Вяземскій напечаталъ въ «Телеграфѣ» еще стихотворную филиппику противъ враговъ Карамзина, т. е. противъ людей, которые почли себя вправѣ судить о Карамзинѣ по крайнему ихъ, а не чужому разумѣнію; въ этой филиппикѣ онъ сравнилъ Карамзина съ геніальнымъ зодчимъ, который изъ грубаго матеріала русскаго языка воздвигъ великолѣпный храмъ, а критиковъ Карамзина сравнилъ онъ съ совами, которыя набились въ храмъ, и проч. Но, несмотря на всѣ филиппики въ прозѣ и стихахъ, время все шло да шло, унося съ собой и вещи, и людей, все измѣняя въ пользу новаго на счетъ стараго. Изъ поколѣнія, образованнаго подъ вліяніемъ Карамзинскаго направленія, многіе смотрѣли на Пушкина косо, какъ на литературнаго еретика; но очень немногіе умѣли какъ-то эклектически сочетать уваженіе къ Пушкину и другимъ новымъ талантамъ съ уваженіемъ, попрежнему болѣе упрямымъ, нежели отчетливымъ, къ литературнымъ корифеямъ своего времени. Мое время, наше время—какія это волшебныя слова для человѣка! И какъ не считать ему своего времени за золотой вѣкъ Астрей: вѣдь онъ тогда былъ молодъ и счастливъ! Писатели его времени были первыми, которые поразили впечатлѣніемъ его юный умъ, его юное сердце, а впечатлѣнія юности неизгладимы!... И потому мы не можемъ безъ живой симпатіи читать этихъ стиховъ, въ которыхъ отжившее свой вѣкъ поколѣніе, въ лицѣ одного изъ замѣчательнѣйшихъ своихъ представителей, съ такой грустной искренностью признаетъ себя побѣжденнымъ и, отказываясь дѣлать интересы новаго поколѣнія, уже не обвиняетъ его за то, что оно живетъ жизнью тоже своего, а не чужого времени.

Сыны другого поколѣнья,  
Мы въ новомъ—прошлогодній цвѣтъ:  
Живыхъ намъ чужды впечатлѣнья,  
А нашимъ въ нихъ сочувствій нѣтъ.  
Они, что любимъ, разлюбили,  
Страстямъ ихъ—насъ не волновать!  
Ихъ тамъ не было, гдѣ мы были,  
Гдѣ будутъ—намъ ужъ не бывать!  
Нашъ міръ—имъ храмъ опустошенный,  
Имъ баснословье—наша быть,  
И то, что пепель намъ священный,  
Для нихъ одна нѣмая пыль.  
Такъ мы развалинамъ подобны,  
И на распутиі живыхъ  
Стоимъ, какъ памятникъ надгробный  
Среди обителѣй людскихъ.

Да, понятна такая грусть, равно какъ и то, что поколѣніе Карамзинскаго періода нашей литературы проиграло тяжбу о своемъ первенствѣ скорѣе, нежели увидѣло и призналось, что его тяжба проиграна. Между нимъ было много людей, которые прочли

первыя печатныя строки Карамзина въ минуту ихъ появленія, а Карамзинъ началъ писать за десять лѣтъ до начала новаго столѣтія: слѣдовательно многое изъ людей этого поколѣнія, не приготовившись, встрѣтили славу Пушкина, вдругъ выросшую колоссально, безъ ихъ вѣдома, безъ ихъ содѣйствія, и какую славу!—славу, которой до него не знали ни одинъ русскій поэтъ,—славу народную... Въ то время самыя младшіе изъ людей этого поколѣнія были уже людьми возмужалыми, вполне развившимися и опредѣлившимися; большая же часть этого поколѣнія состояла изъ людей пожилыхъ; и если между ними немного было стариковъ, то къ нимъ примкнулись, въ чувствѣ оппозиціи новой литературѣ, всѣ старцы Ломоносовскаго періода нашей литературы,—старцы, которые, разнясь съ ними во многомъ, всѣ почти совершенно сходились въ безусловномъ удивленіи къ Карамзину. Но вотъ что удивительно: какъ это новое, это романтическое поколѣніе, одержавшее такую рѣшительную побѣду надъ предшествовавшимъ ему поколѣніемъ, — какъ оно-то такъ скоро стало въ то самое положеніе, въ которое оно поставило смѣненное имъ поколѣніе? Скажутъ: этому минуло уже около двадцати пяти лѣтъ, почти цѣлая четверть вѣка. Еслибъ это было такъ, тутъ не было бы ничего особенно удивительнаго; но дѣло въ томъ, что между 1831-мъ и 1835-мъ годомъ въ литературѣ нашей произошелъ крутой переломъ. Пушкинъ пошелъ по совершенно новой дорогѣ, предавшись искусству въ исключительномъ значеніи этого слова; издавъ «Бориса Годунова» и послѣднія главы «Онѣгина», онъ печаталъ, и то изрѣдка, только небольшія пьесы. Правда, онъ напечаталъ въ своемъ журналѣ «Капитанскую Дочку» и «Скупого Рыцаря»; но «Египетскія Ночи», «Русалка», «Мѣдный Всадникъ» и «Каменный Гость» были напечатаны уже послѣ его смерти. Сверхъ того онъ обнаружилъ сильную склонность къ прозѣ и къ важнымъ историческимъ трудамъ, потому что его «Исторія Пугачевскаго Бунта» была для него самого только пробнымъ камнемъ его историческаго таланта, и, работая надъ нею, онъ уже готовилъ матеріалы для труда болѣе важнаго и великаго—для исторіи «Петра Великаго». Но, что особенно замѣчательно въ началѣ тридцатыхъ годовъ (между 1831 и 1835-мъ), Пушкинъ также былъ въ упадкѣ своей славы, какъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ онъ былъ въ ея апогеѣ. Это фактъ многозначительный. Отъ Пушкина отступились его присяжные хвалители и издали повели рѣчь, что онъ отсталъ отъ вѣка, обманулъ всеобщее ожиданіе,—словомъ, повели рѣчь

о его паденіи такъ же основательно, какъ основательно провозглашали его еще не такъ давно «сѣвернымъ Байрономъ» и «представителемъ современнаго человѣчества». Даже дружина талантовъ, вмѣстѣ вышедшая съ Пушкинымъ и ему такъ много обязанная отблескомъ его отразившейся на ней славы, даже она была недовольна имъ. Многіе спрашивали, чтò же онъ сдѣлалъ, гдѣ у него европейскія идеи, и т. п. Нѣкоторые дошли до того, что въ Пушкинѣ стали видѣть не болѣе, какъ преобразователя русскаго стиха,— легкаго, пріятнаго и грандіознаго стихотворца, а пальму первенства между русскими поэтами думали вручить Языкову, тѣмъ болѣе, что и самъ Пушкинъ видѣлъ въ послѣднемъ какого-то необыкновеннаго поэта.

Но все это означало ни больше, ни меньше, какъ только то, что все это поколѣніе, изъ подъ орлинаго крыла Пушкина весело выпорхнувшее на раздолье литературнаго міра, уже отстало отъ него. Пушкина спасла не мысль, не сознательное стремленіе впередъ, нѣтъ: своимъ спасеніемъ, т. е. тѣмъ, что онъ не исписался и не выписался, онъ обязанъ былъ только своему колоссальному таланту, своей глубокой натурѣ, своему необыкновенному художническому инстинкту. Когда явились его посмертныя сочиненія, для нихъ нашлись цѣнители и судьи уже изъ людей новаго поколѣнія; а то, которое развилось подъ его вліяніемъ, и теперь еще живетъ воспоминаніемъ славы Пушкина, какъ творца «Руслана и Людмилы», «Братьевъ Разбойниковъ», «Кавказскаго Пльнника», «Бахчисарайскаго Фонтана», «Графа Нулина», «Цыганъ» и первыхъ шести главъ «Онегина». Въ 1830 году необычайный успѣхъ «Юрія Милославскаго» сообщилъ русскою литературѣ болѣе прозаическое направленіе въ томъ смыслѣ, что стиховъ стали меньше читать и писать, тогда какъ прозу жадно читала публика, и въ прозѣ усердно начали подвизаться литераторы. Въ 1831 и 1832-мъ годахъ появились «Вечера на Хуторѣ» Гоголя, а въ 1836 году русская публика уже прочла его «Арабески», «Миргородъ» и познакомилась, и въ книгѣ, и въ театрѣ, съ его «Ревизоромъ». Поэты Пушкинской эпохи продолжали писать, но ихъ стихотворенія уже не возбуждали прежняго вниманія, ихъ имена уже потеряли свое прежнее очарованіе и перестали быть неоспоримымъ доказательствомъ высокаго достоинства пьесъ, подъ которыми они подписаны. Въ то же время явились въ литературѣ совершенно новыя имена,— между прочими Кукольникъ и Бенедиктовъ, въ сочиненіяхъ которыхъ замѣтно было совершенно новое направленіе, совсѣмъ другой характеръ, нежели у поэтовъ Пушкинской

школы. О значеніи этого направленія мы не считаемъ нужнымъ распространяться; скажемъ только, что оно было новое, и что во всемъ новомъ всегда выражается стремленіе къ прогрессу, если не прогрессъ. Все это, каждое въ свою очередь, болѣе или менѣе было признакомъ конца одного періода литературы и начала другого: одно поколѣніе уступало мѣсто другому. Но ни въ чемъ такъ рѣзко не выразился этотъ конецъ для однихъ и это начало для другихъ, какъ въ критикѣ. Споръ о романтизмѣ и классицизмѣ кончился; партіи не согласились, но время рѣшило вопросъ, и этимъ рѣшеніемъ воспользовались, разумѣется, не тѣ, которые спорили. Романтическая критика, какъ мы уже замѣтили выше, потеряла свой торжествующій и побѣдный тонъ; она вдругъ сдѣлалась недовольной, ворчливой и пустилась сокрушать авторитеты, которымъ сама еще такъ недавно кадила оиміагомъ благовоиѣишихъ похвалъ. Если въ ея глазахъ и самъ Пушкинъ отсталъ отъ вѣка, то кто же бы изъ другихъ могъ не отстать отъ него? И потому всѣ отстали, всѣ исписались или выписались, всѣ кромѣ ея, «критики съ высшими взглядами»... А между тѣмъ если кто больше всѣхъ отсталъ, такъ это конечно она, верхоглядная критика, и если кто вовсе не думалъ отставать, такъ это конечно Пушкинъ. Но мы не будемъ слишкомъ нападать на романтическую критику, и если, правды ради, выскажемъ ея прегрѣшенія, то не скроемъ и заслугъ ея,— а она оказала большія заслуги общему дѣлу развитія. Она повалила множество ничтожныхъ авторитетовъ, въ геніальность которыхъ до нея вѣрили, какъ монголы вѣрятъ въ святость Далай-Ламы; она изгнала изъ литературы множество предрѣсудковъ самыхъ смѣшныхъ и самыхъ жалкихъ; она первая осмѣлилась сказать во всеуслышаніе, что можно быть въ одно и то же время и человѣкомъ, и прекраснымъ отцомъ семейства, образцомъ нравственности, словомъ, —всячески почтеннымъ и заслуженнымъ человѣкомъ, и—кропать плохіе стихи, сочинять дрянные романы; что званія и должности должны уважаться, но никакъ не должны бездарности давать права, принадлежащія одному таланту, и что стихи или проза почтеннаго человѣка — совершенно различные предметы, такъ что хула на стихи или прозу его нисколько не есть хула на его личность или званіе. Все это теперь похоже на истины вродѣ той, что зимою бываетъ холодно, а лѣтомъ тепло; но тогда—это было другое дѣло, и нужно было много любви къ истинѣ и благородной смѣлости, чтобъ рѣшиться два раза

въ мѣсяцъ и говорить эти истины, и при-  
мѣнять ихъ къ дѣлу. Было время, когда  
Мерзляковъ не зналъ, куда дѣваться отъ  
всеобщаго негодованія, которое возбудили  
его смѣлыя статьи противъ Хераскова. И  
даже во время Пушкина,—это помнимъ и  
мы,—выходки противъ Сумарокова многими  
принимались съ суевѣрнымъ ужасомъ, какъ  
въ степяхъ Средней Азіи были бы приняты  
хулы на Далай-Ламу. Теперь о талантѣ  
можно всякому судить, какъ угодно: если  
вы судите ложно, и Пушкина называете  
бездарнымъ писакой, а какого-нибудь но-  
ваго Тредьяковскаго—геніальнымъ писате-  
лемъ,—въ этомъ всё увидятъ только ваше  
невѣжество и безвкусіе, а не дерзость, не  
буйство, не безнравственность. И этимъ про-  
грессомъ мы обязаны блаженной памяти  
романтической критикѣ: и это ея неотъем-  
лемая, неоспоримая заслуга, за которую ей  
честь и слава. Романтическая критика яви-  
лась въ такія баснословныя, такія мнѣ-  
ческія времена русской литературы, какъ  
будто-бы это было назадъ тому тысячю  
лѣтъ, хотя это было не болѣе двадцати  
пяти лѣтъ назадъ. Судите сами—и дивитесь:  
въ то блаженное и приснопамятное  
время молодой человѣкъ, желавшій дѣй-  
ствовать на литературномъ поприщѣ, дол-  
женъ былъ сперва втереться въ гостиную  
какого нибудь знаменитаго писателя, про-  
славившагося нѣсколькими мадригалами и  
прозаическою статьею о ничемъ, напеча-  
танной лѣтъ пятнадцать назадъ; въ гости-  
ной нашъ кандидатъ въ писатели долженъ  
былъ прислушиваться къ литературнымъ  
толкамъ «знаменитыхъ и опытныхъ» лите-  
раторовъ, чтобъ научиться здраво судить  
о литературѣ, т. е. научиться повторять  
чужія слова, а вмѣстѣ съ тѣмъ и поза-  
пасться приличіемъ и хорошимъ тономъ.  
Выдержавъ первый испускъ, онъ въ одинъ  
прекрасный вечеръ робко, съ замираніемъ  
сердца, объявлялъ почтенному собранію,  
что онъ смастерилъ басенку, пѣсенку, ма-  
дригалъ, сонетецъ или что-нибудь въ этомъ  
родѣ, и что при сочиненіи своей пьесы  
онъ подражалъ такому-то (тогда сочи-  
нять значило подражать, а сочиняя не под-  
ражать или сочинять не подражая—зна-  
чило буйствовать и вольнодумничать).  
Почтенное собраніе благосклонно соизво-  
ляло выслушать первый опытъ юнаго пѣнты,  
потомъ начинало дѣлать свои замѣчанія о  
томъ, что хорошо и что нехорошо въ пьесѣ.  
Сколько головъ, столько и умовъ: вслѣд-  
ствіе этой аксіомы въ пьесѣ скромнаго пѣ-  
нты не оставалось почти ни одного незабра-  
кованнаго слова, и все осужденное онъ дол-  
женъ былъ переменить или исключить. Это  
повторялось нѣсколько вечеровъ; наконецъ

стихотвореніе объявлялось годнымъ для пе-  
чати и помѣщалось въ журналѣ. Это было  
родомъ рыцарскаго посвященія, и съ той  
минуты новоставленникъ обязывался быть  
вѣрнымъ риторикѣ, фразамъ, пѣтиче-  
скимъ вольностямъ, обязывался не имѣть  
своего сужденія до извѣстныхъ солидныхъ  
лѣтъ, а до тѣхъ поръ жить ходячими мнѣ-  
ніями знаменитыхъ и опытныхъ литерату-  
ровъ. Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ по-  
борниковъ такъ называемаго романтизма  
разсказываетъ презабавный анекдотъ изъ  
этихъ временъ литературнаго патронаж-  
ства: «Я помню, какъ однажды при мнѣ,  
въ обществѣ литераторовъ, читали стихи  
Пушкина «Къ Морю» (они тогда не были  
еще напечатаны и только что явились въ  
рукописи). Молодой человѣкъ, прочитавшій  
ихъ, застѣнчиво сказалъ, что это его про-  
изведеніе, и скромно просилъ совѣта, что  
ему исправить, и вообще можно ли напеча-  
тать ихъ. Пошли толки! Одинъ говорилъ  
то, другой другое; мнимый авторъ все отмѣ-  
чалъ, записывалъ, выслушалъ рѣшитель-  
ный приговоръ, что стихи не дурны, но  
безъ исправленія печатать ихъ нельзя, и  
вдругъ объявилъ, что это—стихи Пушкина.  
«Вообразите, какіе длинные носы приросли  
къ носамъ всѣхъ совѣтниковъ!» Вотъ ка-  
кія были это времена! И со всѣмъ этимъ  
романтическая критика боролась смѣло, от-  
важно, неутомимо, и все это она побѣдила.

Надо еще сказать, что эта критика имѣ-  
ла что-то вродѣ самобытнаго мнѣнія, не  
чужда была эстетической образованности  
и вкуса, наскоро читала все, что писалось  
за-границею, и наскоро перелистывала во  
французскихъ переводахъ почти всѣхъ  
европейскихъ писателей. Это давало ей  
огромный перевѣсъ надъ людьми стараго  
поколѣнія, которые были хорошо знакомы  
только съ французскими писателями XVII  
и XVIII вѣка, глазами которыхъ смотрѣли  
на писателей Германіи и Англіи, но сами  
ихъ никогда не читали или читали въ во-  
дяныхъ французскихъ переводахъ того же  
XVIII вѣка. Такимъ образомъ ложная  
мысль, что искусство есть украшенное по-  
дражаніе изящной (а не низкой) природѣ, и  
что сочинять значитъ подражать какому-  
нибудь прославленному писателю, особенно  
изъ древнихъ,—эта ложная мысль была  
первымъ и главнымъ догматомъ ихъ эсте-  
тического корана. Романтическая критика  
въ особенности устремилась на подража-  
ніе,—и если теперь поставить въ заглавіи  
своего сочиненія: подражаніе тому-то или  
такому-то, значитъ заранѣе убить свою  
книгу, лишивъ ее читателей (такъ же, какъ  
прежде значило—заранѣе расположить и  
критику, и публику въ пользу своей книги);

это дѣло—заслуга романтической критики. Такъ называемые русскіе классики больше всего боялись имѣть какое-нибудь свое собственное оригинальное мнѣніе и больше всего старались думать и говорить, какъ думали и говорили прежде ихъ и какъ думали и говорили въ ихъ время всѣ: романтическая критика сдѣлала то, что теперь каждый скорѣе рѣшится высказать странное мнѣніе, нежели повторить чужое. О движеніи современныхъ европейскихъ литературъ классики не имѣли никакого понятія: романтическая критика по своему слѣдила за нимъ и озадачивала классиковъ новыми именами и новыми идеями.

Повторяемъ: всѣ эти заслуги романтической критики важны и велики; но этимъ только онѣ и оканчиваются, тогда какъ она претендовала на что-то гораздо важнѣйшее и большее. Такъ называемые ея «высшіе взгляды» были не чѣмъ инымъ, какъ верхоглядствомъ; ея многосторонность и всевѣдѣніе—эклектическимъ энциклопедизмомъ; ея философія—ошибочно понятыми и невѣрно повторенными чужими рѣчами. Явившись въ эпоху чисто переходную, когда гораздо легче было все отрицать, нежели что-нибудь утверждать въ области русской литературы, обладая болѣе практической, нежели теоретической способностью дѣйствовать, и не понявъ исторически умственнаго движенія въ современной Европѣ, —она все, дѣлавшееся въ европейскихъ литературахъ, цѣликомъ думала перенести въ русскую, и потому впала въ самыя смѣшныя ошибки. Французовъ, у которыхъ послѣ Декарта не было уже признаковъ философіи, какъ науки, —французовъ увлекъ эклектизмъ Кузена, и они добродушно признали этого красною великимъ философомъ. Русская романтическая критика въ этомъ исключительно французскомъ, слѣдовательно совершенно частномъ, явленіи увидѣла явленіе міровое, и когда даже наши доморощенные критики, понявъ нелѣпость эклектизма, начали посмѣиваться надъ Кузеномъ, а во Франціи онъ уже совершенно палъ, —романтическая критика тутъ-то и принялась съ особеннымъ усердіемъ кадить генію Кузена. Теперь уже не нужно объяснять, что эклектизмъ есть не философія, а чистое и прямое отрицаніе философіи, и что эклектический философъ есть то же самое, что холодный огонь или огненный холодъ, и что основаніе эклектизма, какъ ученія мертваго и неорганическаго, составляетъ мыслекрадство и шарлатанство. Послѣ того какъ Кузень переправилъ посмертныя сочиненія своего ученика Жоффруа и вписалъ въ нихъ похвалы себѣ и своей философіи, тогда какъ Жоффруа прямо отвергаетъ эклек-

тизмъ какъ нелѣпость, и послѣ того, какъ эта шулерская продѣлка эклектическаго философа была печатно выведена наружу, кто же теперь не знаетъ, что Кузень шарлатанъ? Познакомившись съ новымъ историческимъ направленіемъ во Франціи, романтическая критика цѣликомъ перенесла идеи Гизо, Тьерри и Баранта о противоположности галльскаго элемента съ франкскимъ, какъ непосредственнаго источника всей послѣдующей исторіи Франціи, о борьбѣ общинъ съ феодализмомъ и важности средняго сословія въ новой европейской исторіи, —всѣ эти идеи, выведенныя изъ совершенно чуждыхъ намъ фактовъ, романтическая критика цѣликомъ перенесла въ исторію русскаго народа. Нападая на Карамзина, оспаривая его въ каждой строкѣ, она, бѣдная романтическая критика, и не замѣчала, какую смѣшную играла роль, отыскивая въ русской исторіи совершенно чуждый ей смыслъ и мѣряя ея событія совершенно чуждымъ ей аршиномъ. И мудро ли, что факты въ ея исторіи остались тѣ же самыя, какіе находятся въ исторіи Карамзина, съ прибавленіемъ неидущихъ къ дѣлу высокопарныхъ умствованій, взятыхъ на прокатъ у чужеземныхъ мыслителей, —и еще съ той разницей, что исторія Карамзина написана языкомъ блестящимъ, художественно обработаннымъ, хотя и искусственнымъ, а исторія романтической критики написана языкомъ пухлымъ, многорѣчивымъ, фразистымъ, темнымъ, неопредѣленнымъ—не по безграмотности романтической критики (въ которой ее тогда упрекали враги ея), а по неопредѣленности идей, неволью отразившейся и въ языкѣ. Карамзинъ увлекся идеей московскаго царства, созданнаго Іоанномъ III, какъ высочайшимъ идеаломъ государства; кто можетъ раздѣлять этотъ энтузіазмъ Карамзина, тотъ въ его исторіи найдетъ именно то, чего въ ней должно искать и что въ ней дѣйствительно есть, потому что Карамзинъ со всей добросовѣстностью, во всей истинѣ исполнилъ свое дѣло, не искажая ни одного изъ фактовъ. Романтическая критика въ своей исторіи, волей или неволей, показала то же московское царство (потому что противъ очевидности фактовъ нечего дѣлать), но только съ какими-то теоретическими атрибутами, которые относились къ нему, какъ масло къ водѣ.

Далѣе: романтическая критика, узнавъ, что во Франціи закипѣла война между классицизмомъ и романтизмомъ, обѣими руками уцѣпилась за слово «романтизмъ» и сдѣлала его альфой и омегой всякой мудрости, отвѣтомъ на всѣ вопросы. А между тѣмъ во Франціи, думая спорить о классицизмѣ

и романтизмъ, въ сущности-то спорило литературной свободѣ, стѣсненной до уродства писателями XVII и XVIII вѣка. Въ свое время во Франціи была своя романтическая поэзія, которая называлась провансальской. Кончилось рыцарство—кончился и романтизмъ. Корнель и Расинъ были поэтами ново-монархическаго, а не феодальнаго общества. Послѣ революціи Шатобрианъ явился представителемъ подновленнаго ради текущей потребности романтизма; тѣмъ же явился во время реставраціи Ламартинъ. Съ ними ожилъ на минуту галлванически воскрешенный романтизмъ; но чахоточное чадо скончалось гораздо прежде своихъ здоровыхъ родителей. Кромѣ этихъ двухъ писателей, въ новой Франціи не было ни одного нео-романтика. Но наша романтическая критика думала видѣть романтиковъ во всѣхъ новыхъ французскихъ писателяхъ, не разсмотрѣвъ въ ихъ направленіи чисто отрицательнаго и чисто общественнаго, и потому уже нисколько не романтическаго характера. Особенно видѣла она и романтика, и великаго генія въ Викторѣ Гюго,—этомъ поэтѣ, который, не будучи лишенъ поэтическаго таланта, совершенно лишенъ чувства истины, и который, сіяясь стать выше самого себя, выше своихъ средствъ, дошелъ до крайнихъ предѣловъ натянутости и неестественности. Быстро выросши до облаковъ, его колоссальная слава скоро и испарилась вмѣстѣ съ этими облаками. Въ Германіи такъ называемое романтическое движеніе было не чѣмъ инымъ, какъ литературной оппозиціей протестантизму,—и о романтизмѣ и среднихъ вѣкахъ больше всего хлопоталъ перешедшій въ католицизмъ Шлегель. Такое же движеніе въ пользу католицизма было частью и во Франціи. Не понявъ этого столь исключительнаго явленія, объясняемаго несовѣтъмъ литературными причинами,—наша романтическая критика объявила Шлегелей и Экштейна великими геніями, представителями философскихъ понятій объ искусствѣ и лучшими критиками нашего времени. Гдѣ теперь эти геніи, эти маленькіе великіе люди, которымъ удалось разыграть замѣтную роль въ переходный моментъ?—ихъ эфемерное существованіе кончилось съ породившимъ ихъ моментомъ. Наша романтическая критика, преклоняясь передъ Кузеномъ, почитала своей обязанностью благоговѣть и передъ Шеллингомъ, объ ученіи котораго узнала она изъ французскихъ газетъ. Когда же слышала она о Гегелѣ, ея время уже прошло, ей уже не подъ силу стало справляться, что такое Гегель. Отставъ отъ времени, она рѣшилась объявлять отсталымъ все новое, съ чѣмъ

уже нельзя ей было сладить. Такъ же начала она, съ роковой для нея эпохи тридцатыхъ годовъ, дѣйствовать и въ отношеніи къ русской литературѣ. Марлинскій у нея обогналъ вѣкъ, а Пушкинъ отсталъ отъ вѣка. Не желая отстать отъ Марлинскаго, она и сама принялась писать повѣсти. Это были преинтересныя повѣсти: въ нихъ вся сущность и вся цѣнность романтической критики. Можетъ-быть мы когда-нибудь поговоримъ особенно объ этихъ повѣстяхъ: предметъ и любопытенъ, и поучителенъ... «Вечера на Хуторѣ», это первое произведеніе Гоголя, столь оригинальное, столь свѣжее, столь наивное и исполненное жизни, романтическая критика встрѣтила бранью. Запоздалая, никѣмъ невнимаемая, безъ голоса, безъ кредита, романтическая критика и теперь еще не перестаетъ давать знать, что она все еще пишетъ, пишетъ... Что же и какъ же она пишетъ? Кажется, все то же и все такъ же, какъ и прежде; да дѣло въ томъ, что все это только прежнія слова, но уже безъ увѣренности, безъ силы, безъ увлеченія, безъ жара, и притомъ слова одни и тѣ же, всѣмъ извѣстныя и всѣмъ давно уже наскучившія. Новаго въ ней одно, да и то, отъ частаго повторенія, сдѣлалось уже старо: это какая-то инстинктивная и закоренѣлая враждебность ко всему новому, исполненному силы и свѣжести. Такъ, она бранитъ постоянно Гоголя, Диккенса, доказывая, что ихъ постигнетъ участь Дюкре-дю-Мениля. Явился Лермонтовъ—она бранитъ и его, и говоря объ одномъ изъ лучшихъ его стихотвореній: «И скучно, и грустно», восклицаетъ насмѣшливо: «и скучно, и грустно!». Вѣримъ, вѣримъ, что ей—отсталой романтической, ей—запоздалой верхоглядной критикѣ,—и скучно, и грустно сознавать свое безсиліе въ разумѣнии и чувствованіи всего новаго и юнаго! Но не однимъ этимъ ограничиваются ея подвиги: она пустилась въ мелкія компіляціи; она кропаетъ стишонки, надъ которыми во время оно такъ остроумно потѣшалась... Прежде она была самобытная критика, а теперь она—поставщица всякихъ статей и мнѣній, какія ни закажутъ ей, готовая къ услугамъ тѣхъ самыхъ людей, которые нѣкогда очень боялись ея...

Конечно все это «и скучно, и грустно», но въ то же время и понятно. Результата всякаго явленія должно искать въ самомъ этомъ явленіи. Мы уже говорили, что романтическая эпоха нашей литературы (отъ начала двадцатыхъ до половины тридцатыхъ годовъ) была эпохой переходной, въ которой непонятное старое отрицалось во имя еще менѣ понятнаго новаго, въ которой только увлекались и обольщались иде-

ями, но не проникались ими. Основаніе было и неглубокое, и непрочное; непосредственное чувство (часто очень вѣрное) принималось за сознательную мысль, практическая ловкость и сноровка и тактъ—за философское направленіе, за мыслительную созерцательность, наглядка—за изученіе. Слово «романтизмъ» всего лучше объясняетъ дѣло. Романтизмъ былъ попыткой подновить старое, воскресить давно умершее. Въ Германіи онъ былъ усиленъ остановить потокъ новыхъ идей объ обществѣ и успѣхи знанія, основаннаго на чистомъ разумѣ. Во Франціи онъ былъ вызванъ, сперва какъ противодѣйствіе идеямъ переворота, потомъ какъ нравственная поддержка реставраціи. Обстоятельства его вызвали, и вмѣстѣ съ обстоятельствами онъ и исчезъ. Но къ намъ онъ не находился ни въ какихъ отношеніяхъ; правда, онъ изгналъ изъ нашей литературы стѣснительность и однообразіе формъ; но развѣ въ этомъ сущность романтизма? Романтизмъ, это—переведенный на языкъ поэзіи піэтизмъ среднихъ вѣковъ, экзальтація рыцарства. Съ этимъ романтизмомъ насъ еще прежде познакомилъ Жуковскій, и однакожь Жуковского никто не называлъ романтикомъ, хотя онъ въ тысячу разъ болѣе романтикъ, нежели Пушкинъ, котораго всѣ почитали творцомъ и представителемъ романтизма въ русской литературѣ. Вотъ ясное доказательство, что спорили, сами не зная хорошенько, о чемъ!

Сверхъ того даже и со стороны эстетической свободы такъ ли были далеки, какъ думали?—Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ!—У самыхъ отчаянныхъ нашихъ романтиковъ понимаемый въ ихъ смыслѣ романтизмъ былъ не больше, какъ тотъ же псевдо-классицизмъ, только расширенный и развязанный отъ узъ внѣшней формы. Мы очень хорошо помнимъ, что романтическая критика не разъ толковала о возможности эпической поэмы въ наше время: не тотъ же ли это псевдоклассицизмъ, для котораго поэма была высшимъ родомъ поэзіи, который сочинялъ «Генрияды», «Петрияды», «Россиады», чтобъ не отстать отъ грековъ и римлянъ? Нашъ романтизмъ видѣлъ великое созданье въ «Notre Dame de Paris», этомъ натянутомъ, ложномъ и всячески фальшивомъ, хотя и блестящемъ произведеніи,—и видитъ признакъ упадка вкуса въ романахъ Диккенса и произведеніяхъ Гоголя. А если вы захотите присмотрѣться къ «драматическимъ представленіямъ» нашего романтизма,—то увидите, что и они мѣсятся по тѣмъ же самымъ рецептамъ, по которымъ составлялись псевдо-классическія драмы и комедіи: тѣ-же избитыя завязки и насильственные развязки, та-же неестествен-

ность, та-же «украшенная природа», тѣ-же образы безъ лицъ вмѣсто характеровъ, то-же однообразіе, та-же пошлость и то-же умѣнье. Даже въ иной передѣлкѣ «Гамлета» нельзя не увидѣть чисто Дюсисовскихъ понятій о трагедіи, только немного подновленныхъ,—и иной передѣльватель «Гамлета»—тотъ же самый Дюся, только не XVIII, а XIX вѣка: разница въ покроѣ платья, а не въ идеѣ. А эти нападки, будто-бы, на мерзости романовъ Диккенса и, будто-бы, на сальности произведеній Гоголя, — не чистый ли это классицизмъ XVIII вѣка? Наши романтики ушли отъ псевдо-классицизма гораздо меньше, нежели ушелъ отъ него Казимиръ-Делавинъ—этотъ мнимый примиритель Расина съ Шекспиромъ, этотъ поэтический академикъ-электикъ.

Мы помнимъ русскій романтизмъ въ самомъ разгарѣ его. Эпоха нашего сознанія сливается съ эпохой его торжества. Юношескому чувству нравилась его походка, его удалство, его гордое сознаніе своихъ успѣховъ. Жадно перечитывая и даже переписывая всякое вновь появлявшееся стихотвореніе Пушкина, мы почти съ такимъ же восторгомъ хватались за все, что выходило изъ-подъ пера Баратынскаго, Языкова, Дельвига, Подолинскаго, Веневитинова, Полежаева, Давыдова, Козлова, Туманскаго, Хомякова... e tutti quanti. Все было хорошо, все нравилось, все восхищало. Но болѣе всего послѣ Пушкина интересовали насъ, какъ и всѣхъ, стихотворенія Баратынскаго, Веневитинова, Полежаева и Языкова. Послѣдній стоялъ въ нашемъ сознаніи едва ли не первымъ послѣ Пушкина. Но время шло, и мы шли за нимъ; декорации перемѣнились; послѣ того много промелькнуло новыхъ именъ, много появилось надѣлавшихъ большого шума сочиненій, и одни изъ нихъ, очень немногія, удержали за собою свою знаменитость, но большая часть исчезла навсегда... И вотъ теперь эта блестящая дружина талантовъ, такъ очарывавшихъ наше юношеское вниманіе, уже дождалась потомства, хотя многіе изъ нихъ еще живы и даже не стары; дождалась потомства, потому что между эпохой ея блестящаго успѣха и между нашимъ временемъ легла цѣлая бездна... Веневитиновъ умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, оставивъ книжечку стиховъ и книжечку прозы: въ той и другой видны прекрасныя надежды, какія подавалъ этотъ юноша на свое будущее, та и другая юношески прекрасны; но ничего опредѣленнаго не представляетъ ни та, ни другая. Короче, это прекрасная надежда, разрушенная смертью.—Полежаевъ умеръ жертвой богатыхъ, но не уравненныхъ даровъ природы: все доброе въ немъ было

вмѣстѣ и зломъ, и отравой его жизни. Поэзія его есть полное выраженіе личности: это смѣсь вкуса съ безвкусіемъ, таланта съ неразвитостью, гениальныхъ проблесковъ съ пошлостью, силы безъ мѣры и гармоніи, словомъ, что-то прекрасное и вмѣстѣ дикое, неопредѣленное. — Поэзія Козлова была скорбью личнаго несчастья поэта; Козловъ былъ поэтомъ не по призванію, а по несчастью. Такіе поэты бывають всегда однообразны и нравятся, пока къ нимъ не привыкнешь. «Чернецъ» былъ прочитанъ еще въ рукописи цѣлой Россіей; но это не былъ успѣхъ «Горя отъ ума»: это былъ успѣхъ «Бѣдной Лизы». Козловъ переводилъ Байрона, но, переводя, онъ сообщалъ ему колоритъ своего собственнаго вдохновенія, и силу Байрона превращалъ въ простое чувство унылости. Въ мелкихъ стихотвореніяхъ Козлова есть мелодія стиха, но содержаніе ихъ однообразно и не довольно существенно.—Легучія стихотворенія Давыдова—бивуачныя импровизаціи. Давыдовъ и въ поэзіи былъ партизаномъ, какъ на войнѣ. Нельзя лучше его успѣть въ поэзіи, занимаясь ею между прочимъ, какъ однимъ изъ наслажденій жизни.—Дельвигъ своею поэтической славой былъ обязанъ больше дружескимъ отношеніямъ къ Пушкину и другимъ поэтамъ своего времени, нежели таланту. Это была прекрасная личность, которую любили всѣ близкіе къ ней; Дельвигъ любилъ и понималъ поэзію не въ однихъ стихотвореніяхъ, но и въ жизни, и это-то ошибочно увлекло его къ занятію поэзіей, какъ своимъ призваніемъ; онъ былъ поэтическая натура, но не поэтъ.—Давно уже Подолинскій сталъ писать все рѣже и рѣже, а наконецъ и совсѣмъ пересталъ. Что это значитъ? неужели прежде времени потухло священное пламя вдохновенія? Мы думаемъ, Подолинскій почувствовалъ самъ, что онъ сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать, написалъ все, что могъ написать. Онъ пробовалъ писать, когда уже прошло его время, но вѣроятно увидѣлъ, что у него выходитъ то же самое, что было имъ давно уже написано, а попытки въ другомъ тонѣ вѣроятно ему не удавались. У Подолинскаго былъ талантъ, и прекрасный; но, по нашему мнѣнію, ни одинъ поэтъ этой эпохи не выразилъ своими сочиненіями такъ опредѣленно и ясно, до какой степени бѣдна... какъ бы это сказать? бѣдна сущностью эта эпоха. Возьмите прежнія стихотворенія Подолинскаго: прекрасно, а какъ-то утомительно. Удивительно ли, что теперь о нихъ совсѣмъ не говорятъ, какъ будто бы ихъ и не было? А лѣтъ пятнадцать назадъ появленіе новаго стихотворенія, новой поэмы Подолинскаго были фактомъ текущей рус-

ской литературы.—Туманскій писалъ много, и только въ элегическомъ родѣ; въ его стихахъ много чувства и души; въ свое время стихотворенія его имѣли достоинство, и когда прошло ихъ время, они перестали являться вновь.

Призваніе Баратынскаго было на рубежѣ двухъ сферъ: онъ мыслилъ стихами, если можно такъ выразиться, не будучи собственно ни поэтомъ въ смыслѣ художника, ни сухимъ мыслителемъ. Стихотворенія его не были ни стихотворнымъ резонерствомъ, ни художественными созданіями. Дума всегда преобладала въ нихъ надъ непосредственностью творчества. Почти каждое стихотвореніе Баратынскаго было порождено не стремленіемъ осуществить идеальныя видѣнія фантазіи художника, но необходимостью высказать скорбную мысль, навѣянную на поэта созерцаніемъ жизни. Эта мысль или, лучше сказать, эта дума всегда такъ тепла, такъ задушевна въ стихахъ Баратынскаго; она обращается къ головѣ читателя, но доходитъ до нея черезъ его сердце. Въ думѣ Баратынскаго много страдательнаго, въ обоихъ значеніяхъ этого слова, и въ томъ, что въ ней слышится страданіе, и въ томъ, что эта мысль не активная, а чисто пассивная. Она—всегда вопросъ, на который поэтъ отвѣчаетъ только скорбью; никогда этотъ вопросъ не разрѣшается у него въ отвѣтъ самостоятельностью мысли, въ вопросѣ заключенной. Читая стихи Баратынскаго, забываешь о поэтѣ, и тѣмъ болѣе видишь передъ собой человѣка, съ которымъ можешь не согласиться, но которому не можешь отказать въ своей симпатіи, потому что этотъ человѣкъ, сильно чувствуя, много думалъ, слѣдовательно жилъ, какъ не всѣмъ дано жить, но только избраннымъ. Его скорбь была у него не въ фантазіи, а въ сердцѣ; фантазія же только давала жизнь и форму его скорби; и сердце не рождало его скорби, но только принимало ее отъ его головы. Стихъ Баратынскаго запечатлѣнъ одушевленіемъ и чувствомъ; иногда онъ не лишень даже силы выраженія; словомъ, въ стихѣ Баратынскаго есть поэзія, но какъ его второстепенное качество, и оттого онъ не художественъ. Къ недостаткамъ стиха Баратынскаго принадлежитъ мѣстами прозаичность, мѣстами неточность выраженія. Вообще поэзія Баратынскаго—не нашего времени; но мыслящій человѣкъ всегда перечтеть съ удовольствіемъ стихотворенія Баратынскаго, потому что всегда найдетъ въ нихъ человѣка—предметъ вѣчно интересный для человѣка. Въ послѣднее время Баратынскій писалъ очень мало; въ его «Сумеркахъ» есть нѣсколько истинно прекрасныхъ пьесъ; по-